

Г. Померанц

II ЛЕГЕНДА КРАСНОГО БАКУ

3. Первый подвиг Оли Шатуновской.

Об этом Ольга Григорьевна рассказывала дважды. Один раз покороче, другой – подлиннее.

«Когда нас принимали в гимназию, мне было двенадцать лет. Я сдала на круглую пятерку, Маруся – на тройку. Но ее готовила племянница священника, который преподавал в гимназии закон Божий. Была одна вакансия, и взяли Марусю, за нее ходатайствовал священник. Потом, во второй четверти, освободилась еще одна вакансия, ученица четырнадцати лет оказалась беременна, сошлась с кем-то...

Зимой 1915-го года у Маруси обнаружили чахотку, она грозила перейти в скоротечную. В Баку многие болели чахоткой, я сама болела два раза. С нашего двора всех детей повыносили.

Я стала давать уроки сестрам Бабаевым, Анюте и Шуре. Их родители, армяне, были очень богатые люди. У них был дом, выходящий на четыре улицы занимал целый квартал. Как этот дом (огромное здание на Кутузовском – Г.П.). Платили тридцать рублей в месяц. Анюта училась в четвертом классе, Шура в шестом, со мной. Я была худенькая, как травинка, они раскормленные, с большими бюстами, и очень тупые.

Каждый день я заходила из гимназии домой и сразу шла к ним. С трех до девяти длились уроки, перед контрольными до десяти. Вызубривала им все. Мои мальчишки, Андрюша Ефимов, Миша Лифшиц, ждали всегда с девяти вечера напротив, у армянской церкви, там была скамейка.

За тридцать рублей я снимала Марусе комнату с полным пансионом... Ее там кормили наотвал – яйца, мясные супы. И она стала поправляться. Ведь семья ее жила в подвале, мать работала прачкой и брала работу на дом. Можете себе представить,

что там было. На лето Маруся поехала в Екатеринодар к тетке и там окончательно поправилась.

Мама меня спрашивала: «Зачем ты ей помогаешь? Она тебя не отблагодарит».

Я отвечала: «Мама! Я не за благодарность это делаю, я не хочу видеть ее в гробу. Ведь с нашего двора всех детей повыносили» (с. 58-59).

Прибавим теперь несколько строк из более подробного рассказа:

«Они жили в подвале, где всегда сохло белье. Врачи сказали, что она умрет, если останется там. Я пришла к родителям просить, чтобы Маруся жила с нами, мама отказала. Тогда я нашла себе урок...

Шура была такая тупая, как я ее ни учила, все равно получала двойки. Ее мать была недовольна и говорила:

– Олечка, мы вам тридцать рублей не за то платим, чтобы Шурочка двойки получала. Нам знания не нужны, нам аттестат нужен, чтобы Шурочке можно было солидного жениха найти.

Ну что делать, я и так сижу с ними допоздна: пока все на завтра не пройдем, не могу уйти.

Меня вызывают, почему вы пишете за нее сочинения? И мать ее вызывают. Она входит в нашу комнату, руки в боки.

А я приходила домой только пообедать и с трех до девяти у них была. Я уже с Мишей Орлицким и с Суреном дружила, они придут за мной и ждут, когда я уроки кончу – слышу, свистят. Мать ее говорит – что это? Слышит свист, но не догадывается, что это меня свистят.

И мой отец очень недоволен был – что тебя как собаку высвистывают?

Сочинения я стала диктовать ей в тетрадки на разные темы. Но она была так тупа, что даже названия не могла вписать правильно. Например, тема – русская женщина, а она вписывает ее в тетрадь, где все про Евгения Онегина» (с.26-27).

30 рублей в месяц трудно давались Оле. Но девочка четырнадцати лет с железным упорством продолжала работу и добилась своего. Маруся осталась жить. Теперь продолжу короткий рассказ – он годится как эпитафия ко всей жизни Ольги Григорьевны:

«Потом уже я работала в Сиббюро ЦК в Новосибирске, он тогда назывался Новониколаевск. Однажды иду на работу и вижу, Маруся с мужем и грудным ребенком сидят в коридоре. В руках держат бумажки – просить пособие как члены партии. Ее муж окончил Сельскохозяйственную Академию в Москве, распределили в Барнаул, и они просят пособие на первое время.

Я говорю: – Маруся, не надо, пойдем со мной.

Я жила недалеко, один квартал. Отдала ей все простыни на пеленки, свой полушубок. Так второй раз я ей отдала все, что у меня было.

В сорок шестом году я оказалась в Москве, еще враг народа. Все мои друзья пришли. Маруся не пришла, сказала:

– У меня брат в Наркоминделе, я не могу рисковать.

Потом, когда меня восстановили и я начала заниматься реабилитацией, она передала через других, что хочет прийти. Я ответила, что нет, теперь уже поздно. Друзья познаются в беде (с. 58-59).

4. Роковой шаг

В 1916 г. Оля вступила в РСДРП(б) – партию социал-демократов–большевиков. Ее родители, узнав, были бы в ужасе. Но они были в ужасе и от готовности Оли принять в свой дом чахоточную. А то, что Маруся умрет (и другие Маруси тоже) не вызывало у них ужаса.

Есть какой-то возраст, когда жажда справедливости овладевает юношей или девушкой до пены на губах. Это наблюдение друга нашего дома, замечательной учительницы Веры Измайловны Шварцман. Выражение «пена на губах» принадлежит ей, а не мне. Я только пустил его в ход, и оно теперь приписывается то

мне, то Достоевскому (потому что впервые я употребил его в эссе о Достоевском). Нет, это выражение школьной учительницы, итог ее многолетних наблюдений над учениками девятого, иногда и десятого класса. Я вспоминаю, что в девятом классе с увлечением читал роман «Что делать», а покаяние Раскольникова считал слабостью.

Прошли через это и веховцы. Почти все они были революционными марксистами и даже подвергались за это преследованиям. К счастью, у них было время почитать и продумать не только Маркса, и революцию 1905 г. они встретили зрелыми мыслителями. Да и сама революция 1905-1907 гг. была чем-то вроде прививки от революции. Не случись мировая война, этой прививки, пожалуй, хватило бы для России...

Поколению Оли Шатуновской не повезло. Революция подхватила их даже не студентами, а гимназистами, почти что в возрасте Коли Красоткина, бессмертного мальчика из романа «Братья Карамазовы». В сороковые годы такие мальчишки создавали антисоветские революционные организации. Со мной в камере сидел Володя Гершуни, племянник (или внучатый племянник) исторического Гершуни, эсеровского террориста, повешенного при царе Николае. Не знаю, кто сочинил в поздние сталинские годы песню, на мотив уголовной (про центральную тюрьму):

Сижу я в камере, все в той же камере,
Где может быть еще сидел мой дед,
И жду этапа я, этапа дальнего,
Как ждал отец мой здесь в шестнадцать лет...

А.А.Носов, редактор отдела публицистики «Нового мира», просматривая уже принятую главным редактором статью о Шатуновской, был явно ею недоволен, бранил большевиков и спрашивал меня, почему эти мальчишки и девочки не отнесли свое возмущение в какую-нибудь приличную партию, вроде конституционно-демократической? Я ответил, что в 1917-1918 гг. масса народа голосовала за ультрареволюционные партии и даже социалисты помягче (социал-демократы–меньшевики, народные социалисты и т.п.) на выборах в Учредительное собрание

провалились. Страна устала от кровавой, бессмысленной бойни, казалось, не имевшей конца, страна хотела революционных перемен. Миллионы людей подхватывали лозунг «война войне»! «Мир без аннексий и контрибуций!» Миллионы людей вдруг поверили в социализм, который сразу покончит со всем злом.

Слово «социализм» сейчас выцвело. Для многих оно даже стало бранным (по крайней мере, до тех пор, пока не сформировался дикий рынок, отбросивший массу в обратную сторону). На Западе это программа социальной защиты, разумная, пока не вредит производству, а потом откладываемая в сторону – что-то обыденное для цивилизованной страны и так же мало волнующее, как контейнеры для сборки мусора. Но в революционной России это был миф, обращенный к сердцу и прикрытый видимостью научной аргументации, усыплявший разум.

Валентинов, во «Встречах с Лениным», вспоминает реплику рабочего, участника одного из социал-демократических кружков: «Как послушаешь вас, барышня, так при социализме и кошки не будут давить мышей!» При социализме, говорили взрослые, ответственные люди, «каждый средний человек достигнет по крайней мере уровня Гёте и Аристотеля». Это слова Троцкого. А Ленин писал, что при социализме из золота будут делать общественные уборные. Социализм был религией земного рая, построенного без Бога. И вера в этот рай имела своих мучеников – и своих мошенников, эксплуатировавших чужую веру... Или своего великого инквизитора, утратившего веру (не знаю, с кем лучше сравнить И.В.Сталина).

Без понимания силы и глубины социалистической веры нельзя понять ни победы большевиков в гражданской войне, ни победы Сталина над большевиками, искренне захваченными своими иллюзиями. Простые парни, принятые в партию по «ленинскому набору» (после смерти Ленина), легко принимали лозунг построения социализма в одной стране. Социализм сводился к формуле: от каждого по

способностям, каждому по труду. Миф переносился в отдаленное будущее, в коммунизм, практически оставался принцип честного расчета с рабочим за его труд. Такой социализм отличался от цивилизованного капитализма только одним: единственным хозяином оставалось государство, предположительно – рабочее государство, не способное эксплуатировать рабочих. Петр Григорьевич Григоренко признавался (в своей книге «В подполье можно встретить только крыс», Нью-Йорк, 1981), что в юности это его убеждало.

Дореволюционное поколение революционеров не могло так думать. Для него социализм означал совершенно новые отношения между людьми, совершенно новых людей. И было очевидно, что отдельная страна, окруженная врагами и вынужденная проводить «сверхиндустриализацию за счет крестьянства» (так это откровенно сформулировал Троцкий) не может воспитывать Аристотелей, ей не до жиру, быть бы живу. Этой стране необходима и эксплуатация рабочего (чтобы накопить средства для капиталовложений), и армия (содержание которой тоже недешево обходится), и тюрьмы для недовольных и т.п.

Я думаю, что Бухарин принимал сталинский лозунг только по тактическим соображениям, как громоотвод против авантюристических планов мировой революции, а практически стоял за «НЭП надолго и всерьез» и «врастание кулака в социализм», то есть развитие рыночной экономики, как сейчас говорят, при сохранении «командных высот» у государства; вариант, который испытывается в Китае. Но в Китае никогда не было идеала свободной личности, от Ренессанса до Маркса, а в России это было, в верхнем, образованном слое, у интеллигенции. Там идея «бесконечного развития богатства человеческой природы как самоцели» (Маркс) падала на хорошо подготовленную почву.

Даже после горького опыта 1905-1907 гг. критика веховцев вызывала страстный отпор. И большевистской интеллигенции было ясно, что никакого бесконечного развития богатства человеческой природы в изолированной стране не

выйдет. Напротив, жизнь будет труднее, чем при капитализме, и чем больше старание «догнать и перегнать» за несколько лет капиталистическую современность, тем тяжелее. Другое дело, если социалистическими станут Германия, Франция; а без этого – никаких пирогов и пышек. Это сознание выразил анекдот начала двадцатых годов, который мне рассказывал мой тесть, в 1923 г. – секретарь комсомольского комитета МВТУ и оппонент Маленкова (секретаря партийного комитета МВТУ):

Гилеля, мудреца талмуда, отличавшегося мягкостью и все разрешавшего, спросили: Можно ли построить социализм в одной стране? Он ответил: «Можно». Однако Раше (средневековый комментатор, живший на тысячу лет позже) добавил: «Но жить в этой стране нельзя будет».

Моя мама никогда не имела никакого теоретически продуманного мировоззрения. Но выйдя замуж за социал-демократа (бундовца), она перевидала в своем доме многих социалистов и примерно угадывала, что они чувствовали за словом «социализм». И в 1936 г., когда было объявлено, что социализм построен, она спросила меня: «Неужели это социализм? Ради этого люди шли на каторгу, на виселицу?» Я ответил, с гордостью студента второго курса: «Конечно. Ведь у нас общественная собственность на средства производства». И тотчас почувствовал, что лгу. Что люди шли на каторгу и на виселицу не рад того, чтобы собственником стало государство.

Почему Оля Шатуновская, при всем своем уме, не почувствовала этого? В беседе со Старковым она это четко объясняет: «В конце двадцатых – начале тридцатых годов я считала, что все что делается – правильно. Вообще сначала у меня всегда было: все, что Ленин говорит, все правильно. Даже мысли не может быть, чтобы не согласиться с Лениным. Как бы мне ни казалось, что нет, не так, я должна это отбросить. Раз Ленин говорит так, значит только так. А потом это как-то перешло и на Сталина. Сталин говорит...

Но нужно вам сказать, что он применял очень коварные методы. Например, до этой насильственной коллективизации было принято постановление ЦК о том, что нужна демократия, нужна самокритика...» (и т.п. с. 212). Приемы Сталина, благодаря которым он всегда выглядел наследником Ленина, лидером ленинского большинства, подробно исследованы Авторхановым в его «Технологии власти». Но ловушкой, которую Ольга Григорьевна не заметила, был характер самой ленинской партии. Это была партия вождя, Ленина. Про меньшевиков никогда не говорили: «Плехановцы», «Мартовцы» и т.п. А большевики были ленинцы. И жесткая партийная дисциплина, установленная после II съезда РСДРП, была дисциплиной подчинения вождю. Это не было четко сформулировано, выражено в слове, но таков был дух. И девушка 17 лет, ставшая секретарем Шаумяна, одного из ведущих ленинцев, впитала это в себя бессознательно. Ей было странно, что боролись за голоса при выборах в Учредительное собрание, а потом Учредительное собрание разогнали. Но Ленин сказал, что это правильно, – значит правильно (стр....).

Именно это – вождизм – уловил Муссолини как новый принцип партии масс, именно это он откровенно, последовательно оформил, отбросив социал-демократические формальности, которые Ленин сохранял, хотя в критические моменты нарушал (например, в спорах о Брестском мире). А иногда зря сохранял. «Ленин очень любил Рудзутака, и когда он диктовал свое завещание, он написал, что Сталина надо заменить человекам более лояльным.

Крупская спросила: – Кого ты имеешь в виду?

Он ответил: Я имею в виду Рудзутака.

– Почему же ты не напишешь это прямо?

– Не могу же я сам указать наследника» (с.47).

Муссолини называл себя учеником Ленина и был совершенно прав. А Гитлер был учеником Муссолини. Если брать слово фашизм в широком смысле, как движение масс, основанное на вере в вождя, то большевизм – исторически первая

фашистская (или, скажем, тяготеющая к фашизму) партия. В этом смысле возможен фашизм без расизма (итальянские фашисты не были расистами) и даже без национализма, по крайней мере, на первом этапе, до захвата власти. После захвата власти интернационализм большевиков сохраняется только как идеология, постепенно уступая место советскому (или кубинскому, югославскому, китайскому) патриотизму. Примерно так же вселенская церковь становилась национальной (русское православие, польский католицизм). Оберштурмбаннфюрер Лисс убедительно объясняет логику этого развития старому большевику Мостовскому (в романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба»).

Замечательно, что массовые коммунистические партии сложились только в странах, история которых колеблется между демократией и диктатурой. У англосаксов оказался прочный иммунитет ко всем видам фашизма, хотя расизм там был и теоретически обоснован Чемберленом до Гитлера. Более того: расизм прекрасно уживается с демократией, начиная с борцов за сохранение рабства в южных штатах Америки и до апартеида в ЮАР. С другой стороны, демократическая фразеология и процедуры, ставшие холодным ритуалом в коммунистических партиях, при благоприятных условиях могут зажигать сердца и вызвать вспышки борьбы за подлинную свободу. Такой вспышкой была «чешская весна». В жизни Ольги Шатуновской это случалось дважды, и каждый раз ее фактически высылали из Баку (где у нее был огромный личный авторитет) куда-нибудь вглубь России, перевоспитывая в рядового функционера.

Но до этого в 1918 г. еще было далеко. И прежде чем стать жертвой советской власти, надо было эту власть утвердить. И юноши и девушки, подобные Оле и ее другу Сурену, ежедневно рисковали головой, чтобы в конце концов попасть на советскую каторгу или быть расстрелянным в советской тюрьме.

4. Гимназисты на эшафоте

О том, как она без туфель убежала в революцию, Ольга Григорьевна рассказывала с улыбкой:

«В Баку еще не было советской власти, но мы с Марусей Крамаренко были в дружине. Нам сказали, что если будут выстрелы, значит, началось, выходите. Мы пришли к нам домой ночевать и вдруг слышим, началась стрельба. Мы хотели идти, а отец – он был против того, что мы с большевиками связались. Бандиты какие-то – никуда! Запер нас на замок, два амбарных замка повесил.

Я думаю, как же так, нам же доверили, на нас надеются, а мы тут сидим. Я представлялась себе великой деятельницей, а ума было не больше, чем сейчас у Антоши¹ – шестнадцать лет!

И вот я все думаю и думаю – как быть, как выйти? – и к утру придумала, что можно выйти по другой лестнице, надо только вылезти на карниз с галереи. А чтобы пройти по карнизу, надо, чтобы было за что держаться, выставить стекла, так и сделала.

Пошла на галерею, подушкой выставила три-четыре стекла, так что они не звякнули, вылезла и по узкому карнизу пробралась на лестницу. Маруся за мной.

Мы – к воротам, а ключ от ворот у меня был. На улице пальба, а у ворот с этой стороны стоит хозяин и смотрит в щелку на улицу, что там происходит. Мы сразу, раз, к воротам! Я ключом отперла замок, он не успел нас остановить. Опомнился, кричит: – Стойте, куда вы в одних чулках? А мы бегом...» (с. 30-31).

Ничего Оля и Маруся в эту ночь не совершили. Но очень скоро оказалось, что революции нужны были гимназисты. Выбор Шаумяна, сделавшего Олю своим секретарем, не был исключительным случаем. Через два года, в том же Баку, Киров назначил моего тестя, шестнадцатилетнего Саню Миркина, секретарем Бакинского уездного ревкома. Интеллигенты постарше большевизму не сочувствовали, и там, где нужна была грамотность, шли вперед гимназисты. А другие гимназисты

(кажется, еще чаще) шли в белую гвардию. С той же пеной на губах они принимали белый террор, как красные гимназисты – красный.

Белый террор на порядок или на два, три порядка уступал красному по масштабам, но не по злости. Масштабы задавались целью: фантастическая цель оправдывала фантастические жестокости, скромная цель восстановления прерванной традиции оправдывала меньше злодейств. Кроме того, белое движение было хуже организовано и плохо продумано. После разрыва Колчака с эсерами у него не было агитаторов, способных убедить мобилизованных крестьян, за что им стоит воевать. В других углах России даже серьезной попытки мобилизации не было. Белые цеплялись за окраины, где были казачьи войска или высадившиеся в портах интервенты. Победив в столицах, большевики создали центральную власть, способную призвать офицеров, вернувшихся с германского фронта, в Красную Армию, и была ЧК, угрозы которой за уклонение от призыва были не шуточными. Армейская контрразведка белых не могла даже поставить себе такую стратегическую задачу. А добровольно средний интеллигент, ставший офицером на германском фронте, не хотел идти воевать ни с белыми, ни с красными. Интеллигенты могли сочувствовать героям индивидуального террора, но с отвращением относились к государственному террору, к расстрелам и виселицам. Обе стороны в гражданской войне отталкивали таких людей, как Короленко, Волошин, Пешехонов. Для них не важно было, кто больше расстреливал и вешал, для них всякая казнь – столыпинская, ленинская, колчаковская – была одинаково мерзкой.

Некоторые публицисты сегодня подчеркивают, что белые, по мере возможности, сохраняли евангельские заповеди и гражданские законы. Однако шкуровцы верили в Бога, а за ними по стране шел кровавый след погромов. Однако социал-демократы–меньшевики упорно протестовали против всякого террора, хотя в

¹ Младший внук О.Г. – Г.П.

Бога не верили и по языку, по фразеологии не отличались от большевиков. Но у меньшевиков было другое понимание Маркса и другое, гуманитарно-европейское понимание прав человека. Когда Колчак попал в руки Иркутского совета, где руководили меньшевики и эсеры, Верховного правителя судили и перед исполнением приговора дали свидание с его гражданской женой, Тимиревой. То есть была установка на правовой порядок, насколько он возможен в условиях гражданской войны.

И у красных, и у белых водораздел проходил между европейски-гуманитарным правосознанием и пугачевским правосознанием, с красной кокардой у одних и с белой – у казаков врангелевской армии, которые в Киеве привязывали родителей к креслам и на глазах отца и матери насиловали девочек–гимназисток.

Колчак, кажется, верил в Бога, но когда ему надоело спорить с эсерами и он разогнал комитет членов Учредительного собрания, то его офицеры изрубили шашками и перекололи штыками социалистических депутатов. Колчак этого не приказывал, но он никого не наказал – не хотел ссориться с казаками. Большевики не могли получить лучшего подарка. Коалиция, способная победить их, была взорвана. Эсеры не простили Колчаку резни. Части, находившиеся под их влиянием, открыли Красной Армии фронт. А при попытке мобилизовать крестьян – организовали сопротивление мобилизации. Эту зияющую дыру в политике белых нельзя было заткнуть героизмом гимназистов, сочинивших песню, переделанную впоследствии на советский лад:

Смело мы в бой пойдём
За Русь святую.
И за нее прольём
Кровь молодую...².

Кровь лилась – но она не удержала распада.

² Неумелая рифма к “советам” – «в борьбе за это» – показывает вторичность красного варианта.

Я гимназистка восьмого класса.
 Пью самогонку заместо кваса.
 Катись, катись, мой шарабан!
 Не будет денег – тебя продам.

Порвались струны моей гитары,
 Когда бежала из-под Самары.
 Катись, катись, мой шарабан!
 Не будет денег – тебя продам.

На белом снеге волкам приманка:
 Два офицера, консервов банка.
 Катись, катись, мой шарабан!
 Не будет денег – продам наган.»

Впрочем Колчаку было, куда бежать: о Самары до Иркутска. А бакинская коммуна лопнула, как мыльный пузырь. Весной 1918 г. она была создана и 31 июля пала. Баку окружали турецкие войска. Единственной надеждой казались англичане. И большинство в советах перешло к эсерам, стоявшим за приглашение союзных английской войск. Новое, эсеровское правительство арестовало большевистских комиссаров и посадило в тюрьму. Всей жизни коммуны было примерно сто дней.

В эти «сто дней» Оля стояла у самой вершины власти – оставаясь буквально голодной.

«Когда я ушла из дому, то сначала жила у Степана Шаумяна, но тогда еще всё было (то есть были продукты на рынке – Г.П.), не надо было заботиться, где взять. А потом однажды Сурик Шаумян зазвал нас (видимо, вместе с Суреном – Г.П.) к себе обедать, мы пришли, и я почувствовала, что мать, Екатерина Борисовна, не рада нам, на столе всё так скудно. Мне стало так неприятно – зачем, думаю, Сурик позвал нас. Я работала днем со Степаном, как его секретарь, но я ничего не требовала, карточку или еще что, – а ему было не до этого.

– Ну так как же? Он же знал, что ты ушла из дома! (видимо, реплика Джаны).

И вот чтобы получить карточку, я работала ночным корректором. Газета, правда, всего четыре страницы, но ее надо насколько раз проверить...

У меня был пропуск в столовую военную, но я стеснялась туда ходить – девочка, буду одна среди мужчин, и голодала.

Я ночевала в штабе дружинников... Моя комната была за галереей, на которой вповалку спали дружинники, и Анастас (Микоян – Г.П.) иногда спал там. Чтобы пройти в уборную, надо было пройти через них, и я ни за что не могла сделать этого. У нас было такое воспитание, что ни за что при мужчине нельзя пройти в уборную, и я страшно мучилась, выбиралась ночью в окно, прыгивала на другую крышу на метр...» (с.54).

«Потом был еще клуб, который мы снимали, и я жила там в дальней комнате, там со мной ночевал Сурен. Вообще-то он жил дома, но когда пришли турки, он пришел и остался со мной. Анастас не знал этого, он все хотел видеть меня и однажды ночью пришел и стал стучать в дверь, он не знал, что со мной Сурен. Сурен вышел.

- Что ты хочешь?
- Я хочу поговорить с Олей.
- Этого нельзя сейчас.

Потом Анастас все упрекал меня. Ты вот говоришь, что ни с кем пока быть не хочешь, а сама с Суреном ночуешь. – Ну и что, что ночую?» (с.55).

Действительно – ну и что? Романтические гимназисты спали в одной постели, целовались – но ничего больше этого Оля не хотела и не разрешала. Вышла она замуж несколько лет спустя и за другого. Это особая история, о которой позже. А здесь пора перейти к надвигавшейся катастрофе.

Шатуновская присутствовала при получении телеграммы Ленина: «Царицын – Сталину, Баку – Шаумяну», и слышала восклицание Шаумяна: «Коба мне не поможет». В своих рассказах она подчеркивает, что Сталин действительно не помог, ни хлебом, ни военной силой. Но вряд ли он мог много сделать. И англичане, пославшие небольшой отряд (по разным оценкам – девятьсот или полторы тысячи

человек), не решились принять бой с вдесятеро большими силами турок (назвавших себя армией ислама). Не имело смысла жертвовать жизнью своих солдат, спасая армян от погрома. А младотурки, проигрывая одну войну, пытались начать новую игру – за создание империи или федерации тюркских народов Азии (существовал и коммунистический вариант пантюркизма: татарский коммунист Султангалиев защищал проект советского тюркистана, без дробления по племенам, с единым литературным языком тюрки, от Казани до Ашхабада и Алма-Ата; Ленин этот проект отверг).

Накануне катастрофы группа молодежи решила штурмовать тюрьму, чтобы освободить заключенных большевиков и дать им возможность спастись. Вооружились гранатами и ждали подходящего момента, когда администрация и охрана разбегутся. Но Микоян убедил эсера Саакяна, остававшегося на своем посту (остальные члены президиума совета уже бежали) – «что вы социалисты и мы социалисты. Ну наши пути разошлись. Мы по-разному смотрим на пути революции, но неужели вы, социалисты, допустите, чтобы наши народные комиссары попали в руки турок, чтобы турки их растерзали. Это же навсегда останется в анналах истории, как позорное пятно для социал-революционеров. Этому Сако Саакян внял. И на бланке президиума – вот такой большой бланк бакинского совета, написал начальнику тюрьмы: «Приказываю освободить всех задержанных большевистских комиссаров».

И вот мы там стоим, уже темнеет... Микоян бежит к нам и держит эту бумагу. А мы же с гранатами. Не надо, говорит, сейчас я их выведу...» (с.43).

Судьба не пощадила комиссаров. Им пришлось плыть на корабле вместе с дашнаками с другими армянскими беженцами. Команде не хотелось в Астрахань, к красным. Она повернула в Красноводск, к белым. А в красноводской тюрьме у одного из комиссаров нашли в кармане «сухарный список», т.е. список, по которому

в бакинской тюрьме выдавали сухари. По этому списку комиссаров выделили из массы беженцев и расстреляли.

Между тем, генерал Нури-паша, вступив в Баку, издал приказ, на три дня передававший город армии. Это было сигналом к резне.

«Мы сидели в доме Серго Мартикяна: Сурен Агамиров, Шура Баранов и я. Разъяренные, разгоряченные кровью орды накатывались на дом. Трое суток мы не сомкнули глаз. Квартира Серго была в пристройке, на пятом этаже, и лестница к ней вела не сразу, продолжением общей, а начиналась за длинным выступом.

Внизу из окон галереи был виден залитый кровью дворик. Мужчин всех убивали, насилюют женщин, девочек. Грабят, ломают, жгут. Когда нечего уже взять, просто крушат все по дороге: столы, стены, мебель, детей об стену. А мы трое сидим в квартире Серго, и нет ни времени, ни мыслей, только ожидание, что будет.

Сурен зарядил револьвер, положил на стол:

– Если ворвутся, убью и тебя, и себя.

– Да что ты, брось.

– Тебе хорошо, Шурка, ты – русский.

Да, у Шурки есть шанс, маленький, крошечный, но есть. Сурен – черный, смуглый, армянин, я – девушка, нам спасения нет. Ну а если найдут и оружие...

Оружие запрятано в трубе, Сурен и Шурка, перемазавшись, изловчились как-то забить там гвоздь и повесить его пачками. Но если найдут...

Трое суток по очереди дежури́м у глазка стеклянной галереи, стекла замазаны мелом, маленький глазок. Оля, отдохни! Я отошла, взглянула в зеркало – кто? Кто там за мной? Оглянулась – нет никого. Так неужели это я – это вот зеленое, перекошенное, нечеловечески напряженное лицо? Это я, Оля?

Когда пошли четвертые сутки, резня понемногу утихла. Пятые. На пятые вспомнили, надо поесть. Пятые сутки ни крохи во рту, в квартире ни хлебной корки.

– Я пойду к Зине, может она даст что-нибудь.

- Не ходи, Оля.
- Ничего, я укутаюсь в шаль.

Я закуталась до самых глаз и пошла. Разграбленный изнасилованный город. Жутко. Двое турок за длинные волосы тащат женщину, живот распорот, и голубовато-розовые кишки тянутся по мостовой. Вздрогнула, натянула еще больше шаль. Видно, прячут куда-то, спешат, тащат (генеральский приказ разрешал резню только на три дня. За три дня не управились. Но на пятый день был, видимо, приказ замести следы. – Г.П.). Вот опять женщина, с отрезанными грудями. Вот на высоких воротах вбит гвоздь, и на гвозде за ухо висит четырехмесячный ребенок, ухо растянулось, сейчас лопнет. Вот младенец, новорожденный, без черепа, стукнули о стену, и разлетелся вдребезги. Вот казармы, здесь помещалась команда самокатчиков – велосипедистов по-нынешнему. Они не успели выехать. Турки сбрасывали их сверху на штыки ожидавших снизу. Двести человек, все до одного, огромная груда тел. Раздетых, оголенных, все до нитки ограблено. Груда белых, ослепительно белых тел – русские, и только одно-два смуглых, армяне.

Но, слава Богу, вот и ворота Зины.

- Стой, девка!

Чьи-то руки схватили сзади, поволокли. Хозяин дома стоял у ворот, побежал, закричал.

- Оставьте ее, она джуди! Она к нам ходит, она – джуди! Не армянка – джуди!

Медленно, неохотно отпустили руки.

Испуганно юркнула в дом. Зина накормила, дала муки. И как ни страшно, отправилась в обратный путь» (с. 62-63).

Армянку можно было бы изнасиловать и после назначенного генералом срока. Но джуди – еврейка. У турок другой козел отпущения – не евреи, армяне. «Если увидишь змею и армянина, убей сперва армянина, потом змею». А еврейские купцы

в течение нескольких веков были неофициальными послами между блистательной Портой и Речью Посполитой, когда нащупывался переход от войны к миру. Евреи для турка не стоят вне закона. Их, как и русских, можно было убивать только попутно, сгоряча, в опьянении общей резни.

Сходную картину нарисовал мне мой тесть. Его поставили к стенке, и курды, изображая расстрел, требовали от тетки, заменившей ему мать, золота. Турецкий офицер, увидев это безобразие, стеклом стал хлестать курдов по лицам; они с криками разбежались. Известный порядок был и в погроме. Евреев не избивали.

Оля впервые пережила погром девочкой четырех лет. Тогда достаточно было запереть крепкие ворота. Слышны были только крики. От припоминания их долго продолжались припадки. Потом они прошли. Осталась только память, что царская администрация смотрела на погромы сквозь пальцы, что полиция медлила. Это одна из причин, по которым девушку захватил коммунистический интернационализм. Но тогда все-таки была полиция, пусть вялая. А теперь население расплачивалось за ленинскую политику развала армии, развала фронта, развала старого государства. Никому из молодых коммунистов эта мысль не пришла в голову. Только на старости лет Ольга Григорьевна признает, что причиной катастрофы был развал армии. Число убитых она называла по слухам – 35.000. Мой тесть говорил о 25.000. А у армянского историка Галстяна я нашел третью цифру – 10.000 (видимо, более точную). Ограбленные, изнасилованные – не в счет.

«Спустя месяц, когда открылось железнодорожное сообщение (с нейтральной Грузией – Г.П.), решили уехать на Тифлис. Левон Гогоберидзе и Костя Румянцев переоделись, Левон под офицера, Костя его денщиком. Им удалось.

На другой день на вокзале провокаторы выдали меня, Сурена и Шуру... Месяц или полтора истязали в тюрьме. Сурена и Шуру сильно избивали, а меня только ударяли по голове кулаками, на которых были золотые перстни-печатки, и они были как кастеты» (с.63-64).

Между тем, сформировано было гражданское правительство. «Бехетдин, начальник охраны, представил правительству: Агамирова, Баранова и Шатуновскую приговорить к повешению. На парапете стояла виселица с двухэтажный дом, и там вешали.

Накануне утром объявили: завтра утром вас повесят на парапете. А через несколько часов вдруг – выходи! Ведут через Губернаторский сад, по Губернаторской улице, я думаю, куда ведут? Напротив суда – дом Ротшильда. В шикарном кабинете, устланном коврами, встает из-за стола Бейбут-хан Джеваншир.

Он меня знал. Было так. В мартовские дни восемнадцатого года, когда гражданская война в Баку происходила и красные цепи подползали по Воинской улице, там был пятиэтажный дом, редкость! И с чердака его строчили из пулеметов по нашим цепям. Тогда подкатили орудие и стали разносить дом на щепы. В этом доме жил Джеваншир, он был с детства другом Степана. Чудом уцелел телефон. Он звонит Степану:

– Степан, спаси!

Это было полгода назад. Я жила тогда у Степана.

Степан берет из пачки бланк чрезвычайного комиссара и пишет на нем мандат: поручаю войти в дом такой-то Сурену Агамирову и сыну моему Сурену, взять и вывести Джеваншира с женой и доставить мне.

Они привязали к штыку белую тряпку, вышли с белым флагом, чтобы не стреляли с чердака. Потом дом сдался, тоже выкинул белые флаги.

Их привели, а я жила у Степана. Через пару дней большевики взяли власть, Степан стал председателем Бакинского комитета. И две недели он (Джеваншир – Г.П.) жил у Степана...

Джеваншир был богатый человек, капиталы за границей. В подполье (т.е. до революции – Г.П.) он поддерживал Степана. Он жил в Белом городе, иногда ночевали у него, иногда прятали литературу. Он говорил Степану:

– Я вашу власть не признаю, я хочу уехать в Турцию.

Ему разрешили... Вскоре после занятия турками города он вернулся, а когда формировалось мусаватское правительство, его назначили ... министром внутренних дел, а раз так, охранка должна ему доложить. Ему доложили свои достижения, что они за последний месяц сделали, и в том числе, что завтра будут вешать трех большевиков, их Нури-паша утвердил. Когда он услышал фамилии Агамирова и Шатуновской, он им ничего не сказал, но сказал – приведите ее ко мне. И вот я вошла к нему в кабинет. Я этого совсем не ожидала.

Он сказал им: – Уходите!

И говорит: – Оля, здравствуй! Я назначен министром внутренних дел.

И сразу, с места в карьер: – Где Степан?

Я говорю, что Степан такого-то числа с такой-то пристани отплыл на пароходе «Туркмен» в Астрахань. Просачивались до нас какие-то темные слухи, будто завезли их в Красноводск и там прикончили, но мы не верили, и я этого не сказала.

Он говорит: – Ничего подобного.

Ему охранка в порядке усердия доложила, что Степан скрывается в Баку. Нас тоже на допросах об этом спрашивали. Он им верит. Начал меня умолять, убеждать.

– Где Степан? Мы располагаем точными данными. Я его спасу. Вы же знаете, он меня спас. Я его спасу. А так его будут искать, искать и прикончат в конце концов. Дайте мне его спасти.

– – Я вас уверяю, что его нет в Баку.

Постепенно он входил в раж.

– Фанатики вы! Безумцы вы! Ведь вы же поймите, что я его спасу. Почему вы мне не верите?

– Бейбут-хан, поймите, что его нет.

Он ничего не хочет слушать и до того разозлился, что ударил в ладоши, вошли два стражника – уведите ее. И я не успела сказать, что нас приговорили к повешенью, меня вывели...

И вот я сижу и жду. И вечером открыл дверь турок, он немного знал русский.

– Бедный девочка! Бедный девочка... Завтра, вот, парает, вот! – и рукой от горла вверх показывает.

– На вот! – кинул кисть винограду.

Через час опять приходит:

– Ой, молодой, совсем молодой. Завтра парает, вот! На стакан вина!

– Еще через час: – На подушка! Спи хоть ночь, завтра тебя не будет.

– Я говорю: – Если ты такой добрый, там внизу в подвале мои братья сидят, сведи меня к ним.

– Знаю. Их тоже, парает, вот! – и опять рукой показывает.

– Я хочу со своими братьями попрощаться, веди меня туда!

– Нет. Что ты? Нельзя. Начальник тут. Меня тоже, парает, вот!

Я тогда как брошу кисть: – На! Не надо мне твоего винограда.

– А-а... Подожди ночь. Подожди немного. Начальник уйдет.

Ночью мы пошли туда. Только вошли, только успели обняться, поцеловаться, сказать друг другу, что будем петь Интернационал, уже:

– Иди. Иди, надо скорее!

И вот опять сижу. Жду. Все смотрю на фрамугу в дверях, как начнет светать, значит всё. Еще темно, и вдруг слышу – идут. Группа людей. Идут сабля волочится, приклады стучат. Что же такое? Неужели уже? За нами? Рассвета не дождалось... Остановились у камеры. Гремят замки.

Входит начальник охранки, Бехетдин-бей. Рыжий турок его звали. Светлые волосы, голубые глаза. Он входит со своим переводчиком, начальником тюрьмы и

еще несколькими тюремщиками. И говорит по-турецки что-то своему переводчику. И тот переводит мне:

– Вас освобождают. Смертная казнь через повешенье заменяется высылкой за пределы Азербайджана.

Я говорю: – Не надо меня обманывать, я и так пойду.

Переводчик говорит: – Она не верит.

Тогда сам Бехетдин-бей, обращаясь ко мне лично, говорит на французском: Министр внутренних дел вновь сформированного правительства Бейбут-хан Джеваншир заменил вам смертную казнь через повешенье высылкой за пределы Азербайджана.

Когда я услышала это имя (Джеваншира – Г.П.), то поняла, что это правда. И поняла, что он, хотя и расвирепел тогда, но распоряжение это о нашем помиловании отдал. И тут я похолодела, вдруг только меня?

– А мои друзья тоже?

Он засмеялся: – Ха-ха-ха! Вы же на допросах были незнакомы. Вы не узнавали друг друга.

Я повторила свой вопрос, и он говорит: да.

Тогда хлынула такая волна радости» (с. 63-66).

Судьба хранила Олю для новых, советских застенков. Она и ее друзья решили не дожидаться официальной высылки (с риском попасть к белым, а там другая виселица). Тайком, переодевшись, выехали в Тбилиси. Там помещался подпольный большевистский крайком. Как раз в это время собралась подпольная конференция. Сняли для этого дом. Так как хозяева опасались неприятностей, «они просили конференцию поскорее закончить, и поэтому решено было заседать без перерывов, и конференция продолжалась три дня и три ночи. Присутствовало человек пятьдесят... Мы дремали по углам.. После этой конференции меня и Сурена послали на работу во Владикавказ» (с.75). Советская власть там еще держалась, но на волоске.

В Грузии большевиков арестовывали, если они вмешивались в грузинские дела, а в остальном старались не замечать. Туда спасались и из Баку, и (впоследствии) из Владикавказа. Большевики расплатились за это примерно так же, как с эсерами, которые помогли им выиграть гражданскую войну, и с Нестором Махно, тачанки которого, форсировав Сиваш, ворвались во врангелевскую столицу – Симферополь.

«В двадцать первом году Сталин и Орджоникидзе возглавляли террор в Грузии. Красная армия свергла меньшевистское правительство и устанавливала советскую власть. Грузия была за меньшевиков и восставала. Они жестоко расправлялись.

Леонид Жгенти рассказывал – когда он был учеником школы, один раз заболел и отпрашился у врача домой. Когда вышли из школы, она была окружена НКВДшниками.

- Стой, ты куда?
- А у меня живот болит, меня врач отпустил домой.
- Никуда не пойдешь, стой тут.

Но он все же не стал стоять, потому что ему было совсем невмоготу, и побежал. Тогда он не понимал, а потом говорил, спасибо вслед не выстрелили. А те вошли в школу, велели всех учеников выстроить, отобрали двадцать самых рослых, связали одной веревкой, увели и расстреляли. Зачем? Террор. Чтоб родители не восставали. И так во всех школах» (с.50).

Почему в этом участвовал Орджоникидзе, человек по натуре добрый (об этом мне достоверно рассказывали)? Как это связать с добрым Орджоникидзе в последние его годы, с попытками бороться с Большим террором, зная, чем он рискует? Видимо, человек, опьяненный идеей, фанатик идеи, теряет интуицию добра и подчиняется логике зла. Я не удивлюсь, если узнаю, что шахедка, взорвавшая себя вместе с несколькими израильтянами, за год перед этим плакала над убитой птицей.

И еще вопрос. Судя по термину НКВДшники, Жгенти рассказывал о том, как избежал расстрела, много лет спустя, когда слова ЧК и ГПУ отошли в прошлое. А что, если бы Оля, дважды спасавшаяся в Грузию, услышала такой рассказ в 1921 году? Но в 1921 году Оля и ее друзья уже были мягким административным решением отосланы на партийную работу в брянское захолустье.